

Убиографов принято описывать первую встречу со знаменитостью. Но первую встречу с Арсением Низовским мне вспоминать не хочется. Может быть, когда-нибудь я отважусь поведать о том, что произошло, но не сейчас.

Поэтому, вопреки обычаю, начнем сразу со второй.

— Прости, прости, паря*! — загудел басом Низовский с высоты своего роста. Невозможно было обижаться на него. — Ну, сам виноват, брат-варнак. Ничё-о, до смерти заживет. Пойдем-ка мы с тобой в «Кадушку», замоем это дело.

Конечно, я не мог ему отказать.

И мы пошли. Вопреки моим ожиданиям, «Кадушка» оказалась не богемным кафе, а баней, обычной мужской баней. Низовский завернулся в простыню, блестел бритой под шар головой, посверкивал хитрым глазом и наслаждался.

В бане было полупусто, и в этот ранний час никто не узнавал в огромном, с белыми, торчащими из-под простыни ногами, человеке того самого, знаменитого Низовского. Без преувеличения мировую знаменитость. Банщик даже осмелился рыкнуть на него за неубранное на место полотенце.

— Да вы что! — взвился я, не выдержав проявленного неуважения. — Да это ж сам...

— Ша! — закрыл мне рот широкой грубоватой ладонью Низовский. — Канешн-а, уберу, отец, о чё-ом разговор.

Сказал, нарочно растягивая слова, как в фильме, который знают все. И аккуратно сложил полотенце пополам, еще пополам, еще, и, подмигнув мне, ловко продолжал складывать и складывать полотенце. Банщик выглядывал, вытягивая шею из-за его спины и что-то будто узнавал. В глазах его заплескалась какая-то мысль.

— А! — заорал он так, что вздрогнули немногочисленные тонкие и толстые мужские фигуры. — Я узнал тебя! Ты ж Пашка! Пашка Буров! Точно?

— Точна-а, — наслаждаясь ситуацией, протянул Низовский.

— Пашка из Восставших! Как же ты выжил? — обрадованно вопил банщик, путая быль и явь. — Он же тебе два раза в сердце.

— Больно, — поморщился Низовский, прикладывая руку к груди.

* *Характерное слово Низовского, вошедшее во все воспоминания. — Прим. авт.*

И так он морщился и двигался, что стало видно по нему, что и впрямь он ранен был, и ранен серьезно, и было ему больно, и лечился он, и валялся по госпиталям, и вот восстал, выжил. Он весь неуловимо, прямо на моих глазах перетек, поменялся и стал Пашкой. Восставшим, измученным, но несломленным и непобежденным.

— Тебе ж нельзя париться, наверно, — прошептал банщик, из полного сочувствия тоже приложивший руку к впалой груди и так же, как и Пашка, поморщивший губы.

— Нельзя, отец, — и опустил левое плечо, еще крепче прижимая руку к сердцу.

— Садись, Паша. Паха, ты что ж, не бережешь себя, — банщик подхватил его под правое, невероятно тяжелое плечо, подставив свое щуплое, как у кузнечика, плечико.

Тут и я, поддавшись непонятно чему, заподхватывал его за необъятную спину, присаживая на плохо струганную лавку. Из всех проходов между белыми шкафчиками пробирались к Низовскому, скользя по мокрому полу, мужики. Замахали Низовскому в побелевшее лицо полами своих сырых простыней, обнажая мосластые колени.

— Братки, спасибо, легче мне.

Синеокий мужичок с пегим хохолком на макушке, напрягаясь и приподнимая Низовского за голову, поил его из багрового китайского термоса.

— Чае-ек, — тянул Низовский, чуть улыбаясь. — Хар-рашо.

— Паша, ну как ты? — заглядывали в лицо, хлопали по плечам.

Низовский, кряхтя, сел, опустил руку, все, как замороженные, усталились на его могучую грудь. Усталился и я, одной половиной мозга осознавая, что на голой груди Низовского не может быть никаких отметин, а второй понимая, что увижу сейчас страшный корявый шрам, оставленный торопливым полевым хирургом в госпитальной палатке.

На груди висел прилипший банный березовый лист.

На улице Низовский еще немного похромал. Потом вдруг остановился, отпустил мое занемевшее плечо, выпрямился и захохотал, испугивая стайки девушек.

— А, черт! Чего это я зашелся? Ахаха! Это банщик все, хороняка, попутал, аха!.. Ты историю-то эту запиши, харрошая, брат, история.

Как настоящий биограф я должен был узнать многое из его жизни, копнуть вглубь. Крепя сердце, чувствуя неприятную слабость в поджилках, я пошел за разрешением к Низовскому.

Он отдыхал от съездов в вагончике, цвыркал кипятуший, как он называл, чай из любимой кружки в застенчивый белый горошек. Щурился от пара и ложки, над которой каждый раз смеялся, но все же не вынимал из кружки. «Как можно узнать русского разведчика? А он всегда прищуривается за чаем, чтоб ложка в глаз не попадала».

— Говоришь, о моей жизни все узнать? — голосом Ивана Грозного спросил Низовский. — Хочешь друзей моих кровных наизнанку вывернуть, всю подноготную вызнать?

Я поежился.

— Хочешь женщин моих любимых выспрашивать, в доверие им втираюсь? Все чтоб, все рассказали, как любил Низовский, как бросал, какие слова темной ночью нашептывал?

Я склонил голову, царапая скатерть.

— Мать-старушку подкупить похвалой сыну и выведать-вызнать, как на горшке сидел, как титьку сосал?

Я осознал всю степень своей мерзости и вскинул голову с заблестевшими глазами, чтоб увидел Низовский, что не такой уж я еще дрянь-человек, и наткнулся на пляшущие озорные огоньки в голубых его глазах.

— Валяй, борзописец! — и махнул лапищей. — Благословляю.

Вторую лапищу в этот момент нежно обрабатывала заботливая маникюрша.

И так царственно помахал он рукой, что я чуть не припал к ней губами, которые сами собой складывались в «благодарствуйте, батюшка».

Бр-р, от Низовского, как от наваждения, надо периодически встряхивать головой. Чтоб не забывать об этом, я поставил себе чернилами крестик во впадине между большим и указательным пальцем. И впоследствии так часто обновлял его, что чернила въелись татуировкой.

Начал я с первой учительницы.

Маленький провинциальный городок Берягин в далекой заснеженной Сибири. Город, давший нам Арсения Низовского*. Звенящая детскими голосами школа, неожиданно большая для такого городка.

Я иду к первой учительнице Низовского, снег похрустывает под ногами. Так же он похрустывал, вероятно, когда задорный мальчуган Сеня, зажав в кулаке веревку от санок, в шапке набекрень бежал с друзьями на горку.

Софья Вениаминовна, седая и строгая, с высоко поднятой прической, словно сошла с экранов старых фильмов про первых учителей. Она уже не преподает, и в ее уютной квартирке на окраине города, как я и ожидал, на стенах всюду фотографии ее классов. Робкие первоклассники, притаившиеся за букетами, смелые рыцари с распахнутым в первый же день воротом белоснежной рубашки, и рядом чуть утомленные школьной жизнью выпускники — третьеклашки. Похожие, как все школьные фотографии, до того, что невольно начинаешь искать среди школяров свое лицо и только потом спохватываешься. Есть и черно-белые фото с бритыми наголо черепушками и чубчиками мужской школы, и современные цветные, с синей формой и разномастными голоventками.

Где-то здесь притаился и школьник Сеня. Может, вот этот задорный класс, все как один в военных пилотках, был его. И с ними, товарищами детских игр, он рос, и рос с ним его талант.

А может, вот эти косички дергал юный Низовский, будущий любимец всех женщин страны. Нет, не узнать его, глаза разбегаются.

— Софья Вениаминовна, — спросил я вошедшую с кухни учительницу, в одной руке она держала чайник, в другой — невиданной красоты пирог.

— Покажите, пожалуйста, где здесь Арсений.

На миг мне показалось, что учительница вздрогнула, будто чего-то испугалась, но тут же оказалось, что показалось.

— Дмитрий, милый мой мальчик, помогите мне, пожалуйста, пирог невероятно тяжелый.

— Да-да, конечно, пожалуйста, давайте-давайте.

Я отнес пирог на стол, где уже стояли в вазочках конфеты и искрилось варенье.

* Подробно см. книгу «Детство и юность Сени Низовского». — Прим. авт.

— Давайте будем пить чай и разговаривать. Неспешная беседа, что еще нужно нам, одиноким пожилым женщинам.

Мы налили по кружечке ароматного чая и приступили к беседе.

Горбатые певучие половицы, красные как пасхальное яйцо, белая крахмальная скатерть, низкий абажур. Тикают ходики, потрескивают батареи отопления. Мы сидим три часа над сказочной красоты пирогом, и седая и строгая Софья Вениаминовна рассказывает мне иронично про свой первый 1 «А», патетически про свой последний 4 «Б», с затаенной любовью про задорный 3 «Г». Про Арсения Низовского еще не сказано ни слова.

— Софья Вениаминовна, расскажите все же, пожалуйста, об Арсении, — попросил я, нажав кнопку миниатюрного диктофона.

Седая учительница испуганным лошадиным глазом покосилась на сверкающую штучку, устремила взгляд за окно и отчеканила:

— Арсений Иннокентьевич Низовский родился в 1955 году, в простой рабочей семье. Отец был сталеваром на знаменитом Берягинском металлургическом комбинате, мать — крановщица мебельной фабрики... Арсений Иннокентьевич...

— Ну, Софья Вениаминовна... — обиженно затрубил я и выключил диктофон. — Ну, зачем же вы мне это рассказываете? Это и я могу вам рассказать, слово в слово. Это напечатано на тридцать пятой странице «Энциклопедии современного искусства», третий абзац сверху.

— Да-а? — не слишком умело удивилась учительница. — Именно третий?

— Давайте попробуем еще раз, не так формально, и... — я махнул рукой и щелкнул хромированной клавишей.

Снова лошадиный глаз, прямая спина, чеканная речь:

— Арсений Низовский в семнадцать лет покинул Берягин с рюкзаком, полным сибирских деликатесов, и...

— ...через четыре дня стоял на Казанском вокзале нашей столицы уже без рюкзака, — закончил я. — «Актеры российского кино», двадцать восьмая страница, внизу.

— Надо же, — смущенно закивала, приставляя руку ко рту, учительница. — Вьелось, видно, в память так.

— Ну, конечно, вьелось, — пришел я на помощь, дружески и сочувственно подстраиваясь и кивая. — Пирог у вас, Софья Вениаминовна, знатнейший.

— А, пирог, пирог — да, — сразу рука перестала прикрывать рот, пошла хлебосольным жестом в сторону, поплыли морщинки у глаз. — Угощайтесь, Димочка. Мальчики любят сладкое.

— И Сеееня, — улыбаюсь, протягиваю слова и руку с пирогом, привязывая одно к другому. — Тоже любил сладкое? Да?

Ну же, ну!

— Да?

Морщинки закаменели, хлебосольная рука деревянно стукнула по краю стола. Щелью рта:

— Арсений Низовский учился в средней школе № 15 города Берягина с...

— ...с 1962 по 1971! — заорал я. — Да что ж это такое, любезная Софья Вениаминовна? Знаю я это, знаю, и знают все читатели и почитатели, и весь прогрессивный мир. Ну, давайте же начнем уже! Арсений Низовский явился в первый класс... ну... совсем... ну?!..

— Крошкой? — полуспросила у меня Софья Вениаминовна.

— Да-да, Софья Вениаминовна, отлично, Софья Вениаминовна. Ну, давайте, продолжим. С трогательной тоненькой... ну?..

— Шейкой, — выдохнула Софья Вениаминовна.

— Ну, хорошо, хорошо, Софья Вениаминовна, и непокорным светлым... ну? Что?..

— Чубом?

— Ну, ага, ага. В загорелой, поцарапанной... Ну?..

— Руке, — обрадовалась узнаванию Софья Вениаминовна.

— Во! Точно! Сеня держал букет растрепанных... Ну?..

— Георгинов! — выкрикнула Софья Вениаминовна первой ученицей и зарделась.

— Молодец! — похвалил я. — Дальше!

Через два часа утомленные, потные, навалившись грудью на стол, мы вяло жевали, не замечая вкус пирога, и слушали запись.

— Не пойдет, ни к черту не пойдет, Софья Вениаминовна, простите. Это напоминает, знаете что?

— Журнал «Веселые картинки», — привычно угадала она.

— Да. Где в печатный текст картинки вставлены для неграмотных.

— А вы знаете, Дима, — устало сказала Софья Вениаминовна, даже не косясь на диктофон, — не помню я этого вашего Низовского. Вот совсем не помню, ни вот такой вот фитюлечки, — показала она сложенный в перстах недоеденный кусочек, посмотрела на него внимательно и съела. — Хоть ешьте меня, хоть режьте.

Я обомлел, хотел потянуться выключить диктофон и не смог, меня словно парализовало.

— Да, Дмитрий, не падайте в обморок. Я тоже сначала переживала, как вся эта волна покатилась: Низовский то, Низовский се, Низовский наше все. Думала, склероз пришел, поминай как звали. Вот так думаю, однажды утром в зеркало посмотрюсь и спрошу, кто эта милая старушка. А потом думаю, э, нет, шалишь, брат-варнак, Федю Ложечкина отлично помню, рассказать? Вот такой парень! Марину Лисичкину. Кавалерист-девица наша, весь 2 «Г» от нее рыдал. Шестьдесят девятый почти весь выпуск помню. И вообще к старости, наоборот, все прежнее четче видится. Могу некоторые уроки по минутам пересказать. — Она зажмурилась, улыбнулась, помолодела и, вероятно, видела сейчас эти памятные уроки. — Максимку Райснера помню отлично. Любочку Великан. Поповых троих помню, не братья. Семеновых, те братья. Ивановых всех. Гримбергов парочку. Соловейко Ниночку...

Она открыла глаза, посмотрела на меня, улыбка затухла, явственно затухла, как свечка. Но сказала решительно, не мямля, как прежде: — Низовского совсем не помню. И на снимках не найду. Простите, Дима, — добавила она, смягчая резкость голоса.

— Пожалуйста, — сказал я совсем уж автоматически. И, чужой рукой бахнув по клавишам, выключил диктофон.

Потом Софья Вениаминовна закутывала меня в коридоре в шарф, утешительно приговаривая что-то, а я испуганно смотрел на диктофон, ни разу меня не подводивший до этого и вдруг превратившийся в ядовитого и хищного зверька, и никак не мог заставить себя спрятать его за пазуху.

— Вы, Димочка, не расстраивайтесь, — щебетала сбросившая с себя груз учительница и все поправляла на мне шарф.

«Стереть или не стереть», — думал в этот момент я.

— Вы сходите к Полине Сергеевне.

«Стереть», — подумал я.

— Она вела десятый в семьдесят первом. Десятый тогда один был.

«Не сотру», — и зачесалось правое ухо.

— Она точно вам про Арсения расскажет, вспомнит, обязательно вспомнит.

— Адрес? — спросил я, окончательно решив стереть, и спрятал диктофон во внутренний карман.

— Вот, Димочка, и хорошо, и правильно, — и подоткнула клетчатый шарф под отвороты дубленки. Ребятня мозаика ехидно смотрела на меня со стен. — Если хотите, приходите в любое время, расскажу вам про Федю Ложечкина. Правда, хороший парень!

Вечером я сидел за столом, приставленным к окну, в двухместном гостиничном номере. Сидел один, свет не зажигал. За окном было светлей, чем в комнате. Окно выходило на городскую площадь, где катались с огромных, не виданных мною снежных горок ребятки. Если собрать по Москве весь снег, не наберется на одну такую горку.

Сидел я так давно. Передо мной лежал чистый лист бумаги, ручка. Строго параллельно листу стоял сверкающий диктофон, словно затаивший в расположении своих клавишей и миниатюрных динамиков язвительную усмешку. Я в очередной раз взял ручку, второй рукой потянулся к диктофону. Застыл, покривился, уронил руку. Положил ручку. Выровнял всю композицию на столе, поправил лист, на пару миллиметров сдвинул диктофон. Подперся и устался в окно. Решился. Быстро-быстро, чтобы не передумать, щелкнул кнопкой, аккуратно и четко сажая слова на лист, начал: «Арсений Низовский явился в первый класс совсем крошкой. С трогательной тонкой шейкой и непокорным светлым чубом. В загорелой поцарапанной руке Сеня держал букет растрепанных георгинов...»

Упорно расшифровывал запись, останавливал, откручивал назад, убористо наносил мелкий узор на лист. Затем бросил голову на стол и несколько раз с тихим рычанием постукался лбом о строчки. Пожевал губами край листа. Зарычал громко, схватил, смял, швырнул ком в стену. Написал размашисто через чистый лист: «Первая учительница Низовского Арсения не помнит». Прибавил большими буквами СОВСЕМ! И пошел, напевая, чистить зубы, и легкий-легкий бухнулся спать. В окно смотрела нетемная сибирская ночь.

Утром в двойную папку с защелками с одной стороны я уложил расправленный жеваный лист, а с другой — листок с одинокой размашистой записью.

Ко второй учительнице я пошел подготовленным.

Полина Сергеевна, бывший классный руководитель десятого класса, энергичная женщина средних лет в мягких вышитых тапочках и строгом, надетом по случаю меня, costume.

— Дмитрий?.. Алексеевич. Вы звонили, да? Очень приятно, проходите.

За спиной ее раздавался писк, возня, топот и хохот, весело лаяла собака.

— Тих-аа! — обернулась она назад и, уже приветливо оборотившись ко мне, повторила, пятясь: — Проходите.

Тесная прихожая была завешана в два ряда шубками, шапками, пальтишками. Пальто топорились один поверх другого и норовили ткнуть в глаз жесткими полями. Пока я раздевался, пристраивал поверх всего свою шапку, подбирал шапку с полу и опять пристраивал, Полина Сергеевна проводила в комнате за висевшими на двери свитерами воспитательную беседу:

— Дядя приехал из Москвы. Ему нужно поговорить с мамой. Не мешайте нам полчаса. Ваня — ты старший, займи малышей.

Я причесывался перед зеркалом, раздвинув шубы. Свитера на двери колыхнулись, я с располагающей улыбкой повернулся к дверям. Вышел зеленоглазый серый сибирский котиче. Дверь открылась чуть шире. Я дружелюбно улыбнулся и приветливо кивнул. За котом протиснулась рыжая собака, хвост колечком. Дверь окончательно распахнулась, насколько позволяла гряда одежды наверху, и в проем одновременно попытались выйти три одинаковых мальчугана в одинаковых джемперах и штанах с резинками понизу.

— Пусти! Я! Я — первый! Я!

Мальчишек сгребли внутрь комнаты сильные женские руки. И Полина Сергеевна выскочила в коридор, прихлопнув за собой дверь. Свитера замахали руками.

— Ваня, смотри за ними! — крикнула она мне в лицо и виновато улыбнулась, пожав плечами.

— Это все ваши? — уважительно спросил я, выстраивая в уме тактику разговора.

— Мои. Это не все еще. Две дочи спят в дальней комнате.

— Спят? — я с трудом представлял, как можно спать в таком бедламе. За дверью слышалось бляенье, буйное ржание, крики «Пусти меня к маме» и щедрые шлепки, которые раздавал, видимо, оставшийся за главного Ваня. — Вы, наверное, очень любите детей. В наше время решиться на такое — подвиг.

Полина Сергеевна немного смутилась:

— Дочу просто очень хотели с мужем. Первый Ваня родился, потом трое вот этих охломонов разом, потом все же надумали дочу. И то аж две получилось. Ваня смеется теперь, говорит, что у него, наверно, тоже брат-близнец есть, все спрашивает, не забыла ли я его в роддоме.

Мы засмеялись.

— Пойдемте на кухню.

— Пойдемте. Извечное интеллигентское место, — пошутил я...

— Низовский? Конечно, помню. Этот десятый класс был первый у меня.

Я настороженно подобрался, нервно оглаживая папку. Памятуя реакцию Софьи Вениаминовны, потихоньку включил диктофон.

— Сеня, высокий такой. Он так смешно брал определенный интеграл! Ахаха, вы не поверите, сначала подставлял пределы, а потом, — она фыркнула, наклонилась ко мне и даже взяла за рукав. — Потом интегрировал. И вы знаете, даже иногда сходилось с ответом. Забавно!

Я кривенько улыбнулся, не зная как реагировать.

— К сожалению, Полина Сергеевна, мне эта история не о многом рассказала. Со школьного курса про интегралы помню только крючок, которым он изображается. Да, еще анекдот: вам интегралы в жизни пригодились? А как же, профессор, у меня шляпа один раз в лужу упала, я проволочку интегралом скрутил да шляпу-то и вытащил. Хм-м.

— Да вы что! Конечно, вам непонятно. А я вам объясню сейчас.

На плите кипела каша, гневно подпрыгивая крышкой, в кухню ломились тройняшки, гавкала собака. Полина Сергеевна не замечала ничего. С упоением миссионера она писала на обратной стороне листа из моей папки интегралы, цифры и буквы, и как-то так понятно объясняла про интегрирование по dx (дэ икс) и dy (дэ игрек), что уже через час я заливался над совсем другим анекдотом.

— В психушке один большой математик подбегает к остальным больным и кричит: «Я тебя дифференцирую! Я тебя интегрирую!!!» Все от него шарахаются

и разбегаются, а один сидит себе спокойненько. Математик ему: «Я тебя дифференцирую! Я тебя интегрирую!!!» Тот отвечает: «А я е в степени игрек!» «А я по игрек продифференцирую!»

— Вот, понимаете теперь про Сенины интегралы? — заглядывала она мне в лицо разгоревшимися глазами.

— Понимаю, — обрадованно сказал я. — Забавно. Вы хороший учитель, Полина Сергеевна.

— Спасибо.

— А давайте, Полина Сергеевна, еще что-нибудь вспомним.

— А давайте, — разошлась она. — Как говорится, главная задача математики — узнать, а не все ли равно?

— Пойдите, Полина Сергеевна, — пленка в диктофоне подходила к концу, и я с опаской на него поглядывал. У меня была запасная кассета в кармане, но я боялся испугнуть учительницу. — Вот, я знаю, в десятом классе ребята ставили самостоятельно спектакль, и там Арсений Низовский играл свою первую роль. Расскажите, пожалуйста.

— Спектакль, ну, конечно, конечно, помню. Как сейчас помню. Витя, не тяни Мишу за хвост! Ваня, заberi их! Спектакль назывался «Королева Гипотенуза».

Я насторожился.

— Да, там был сложный сюжет. Понимаете, треугольник, — и шепотом добавила, округлив глаза: — Любовный. Там была Гипотенуза. И два влюбленных катета. Там еще были точки, вершины треугольника. Был Пифагор. Углы, синусы. Сложный сюжет.

— А Низовский? — выдохнул я.

— Низовский был. Он в третьем акте на стол накрывал.

Чувствуя, как пол колышется под ногами, я сдавленно спросил, хватаясь за диктофон как за сердце:

— Но его роль, она чем-нибудь запомнилась вам?

— Да, он поднос уронил, — хихикнула по-девчоночьи Полина Сергеевна.

Щелкнуло, пленка кончилась, диктофон выкинул кассету.

За окном шел снег. Измученный интегралами, смяв на десять раз под собой простыню, я сел к столу. Открыл форточку, вдохнул ртом и пожевал ночной морозный воздух, положил перед собой два листа. Слева чистый, справа мятый, с размашистыми черными буквами СОВСЕМ. Прослушал заново кассету, вздрагивая и передергиваясь на каждом слове «интеграл». Отложил кассету в сторону, надписав «10 класс».

На чистом листе мелко и аккуратно вывел: «Полина Сергеевна, учительница, выпускавшая класс Арсения Низовского, тепло вспоминает своего знаменитого ученика. Арсений Низовский выделялся из толпы одноклассников. Высокий и стройный, он уверенно стучал мелом у доски, решая сложнейшие интегралы (бр-р) своим, особым способом, отличным от всех учебников. Это был первый класс молодого педагога, но до сих пор, спустя двадцать лет, она не может забыть неординарного ученика.

Тогда, двадцать лет назад, все было впервые. Первый и сразу выпускной класс у Полины Сергеевны, первая роль у Арсения Низовского. Школьный спектакль «Королева Гипотенуза». И Арсений первый раз на сцене. Жаль, что с тех времен не осталось видеосвидетельств, и мы сами не можем оценить игру юного актера,

но, судя по тому, как запомнилась эта роль учителю, какой смех вызывает у нее до сих пор, можно судить, что Арсению удалось в первый же раз оживить, придать сочность, юмор и блеск даже простой роли в школьном незамысловатом спектакле».

На втором мятом листе, вспарывая бумагу острым стержнем, накарябал: «В третьем акте накрывал на стол, уронил поднос! ФИНИТА!!»

Разложил листы в папку: слева, справа. И спать.

На третью бессонную ночь мою коллекцию в правой стороне папки пополнила групповая фотография. Восьмой класс. Черно-белое фото. Широкоплечие длинноволосые парни, взросло прищурившиеся девушки и вперемешку с ними тоненькие девочки с косичками, ушастые круглоголовые мальчуганы с улыбками до ушей на перемазанных чернилами лицах. Четырнадцать, странный возраст. Я был таким, как третий справа, мелким, шустрым, еле до плеча достававшим дядям из класса. Ох, и дразнили мы их с другом Витькой — и женихами, и жеребцами, и всяко-разно — и думали, никогда такими не будем, и стреляли из-за угла в них жеваной бумагой, вызывая на бой. И никак не могли поверить, что они выросли. А потом и Витька вдруг вырос, как-то раз и вытянулся за каникулы. И остался я один.

А Низовский? А Низовский вот он. Один из трех, обведенных рукой Линочки Карцевой. «Не помню, вот кто-то из них, класс большой был. На приставных стульях сидели. Объединяли у нас еще два класса в шестом. Вот остальных помню всех. Вот красавчик наш, Женя Ходин. Девчонки за ним толпами бегали. А он серьезный, в военное училище готовился. Стеснительный. Картавил немного. (Лина улыбается и склоняет голову набок.) А вот этого, этого и этого не помню. Кто-то из них Низовский. Точно. Я с ним «Надежда умерла» пять раз смотрела. И каждый раз плакала. Какой он там, настоящий прямо. (Лина качает головой и задумывается.) Надежда эта, чего ей еще надо было».

За неимением лупы вооружившись очками дежурной по этажу, разглядываю фото. Кто из трех? Ну, должен же быть похож. На себя, на знаменитого, на растиражированного, на плакатного. Вот у этого волосы светлые, и вот вихор, он! А у этого, во втором овале, глаза треугольничками, и нос чуть нависает, ну, он же, он! А третий — высокий, стать сибирская, богатырская, и брови вразлет, ни с кем не перепутаешь, он! Откладывал очки, отвлекался, крутил головой, делал приседания, в глухой сибирской ночи махал ногами и хлопал под ними в ладоши, и-раз-два. Смотрел опять. Не помогло. К утру на Арсения стали похожи все, даже девочки, даже вот этот третий справа, раньше вылитый я.

Я плюнул, протер и отнес с поклоном очки дежурной по этажу. Еще раз взглянул на три фиолетовых овала, положил фотографию в плотный коричневый конверт. Открыл папку, поколебался и закрепил конверт справа. Зафиксировав у себя неотчетливое чувство ненависти непонятно к кому.

Спать.

Я был хорошим интервьюером. И на четвертый день выяснил: девушка, проходившая под грифом первая любовь Арсения Низовского, таковой не является. Все просто — приврала и сама поверила. У женщин это бывает. Не было и первого, щемящего душу поцелуя.

Биография Низовского все более напоминала анкету недавних времен: нет, нет, не был, не привлекался...

От моего скрежета зубового не спали все соседи по этажу. Испуганная дежурная несколько раз стучала в номер и предлагала вызвать скорую...

Четким почерком расшифровывая первую половину интервью, я также четко осознал, что ненавижу Низовского.

Я писал и все вспоминал его портрет на девичьей тумбочке, огромный наглый портрет на прикроватной тумбочке супружеского ложа. Он был третьим лишним в доме, этот заштагный, щуплый мужичок, ее муж. Он не тянул.

Великолепный Низовский, прищулив один знаменитый глаз, сочными губами чуть придавливал бойко торчащую сигаретку. Муж весь вечер смолил одну папиросу за другой, робко отмахиваясь в форточку. Непокорный вихор. Жидкая прядь. Светлая шляпа набекрень. Майка на перекрученных лямках. И эта история любви.

Я стонал. Ах, если б она была правдой, а не то, что я выпытал, вымучил, высидел. То, что мне было сказано сквозь прижатый к губам платок, сквозь слезы, сквозь ужас в глазах, когда сказанного не воротить.

И как распрявился ее муж, с силой ввинтив окурки в пепельницу, как замахнулся на франтовато задранный подборок. И, мелко подрожав кулаком, опустил бездейственно и выскочил за дверь, в сибирские синие сумерки. Он привык быть третьим лишним.

На пятый день по плану, собрав обширный фактический материал, я должен был идти к матери Низовского. Встрепанный, взъерошенный после бессонных ночей, с красными глазами, я запутался в сложном столичном узле галстука и в конце концов сдернул его совсем и швырнул на кровать. Задумчиво побрил пол-лица и, налив одеколон на ладонь, укололся о небритую половину. С недобрый чувством, как последний патрон, загнал кассету в диктофон. Клацнул затвор диктофона. Я перекрестился и пошел.

Свежий морозный воздух взбудрил меня. И пока я добрался на окраину, поплутал по спускам и подъемам частного сектора, уже развеселился, с удовольствием тянул ноздрями запах мороза, дерева и угля и даже засвистел «Дымок родного дома» из фильма, конечно же, незабвенного своего Низовского.

Хороший он парень, Низовский. Так, насвистывая, лихо скатился я на ногах с ледяного длинного спуска, вызвав уважительное «ого!» мелких пацанов, копшившихся внизу, и рассмеялся.

Я любил Низовского. Я мысленно складывал страницы правильной половины папки, и у меня получалось все так, как надо. Общая картина. Я видел напечатанной свою книгу, видел блестящую обложку, вкладку с черно-белыми фото. Недостающие детские фотографии попрошу переснять у матери Низовского.

За высокой деревянной калиткой заходила хриплым басом здоровенная собака. Я постучал в окно веранды, смотрящей на улицу. Собака зашла сильнее, казалось, из пасти летят клочья пены. Я поежился. Шагов за лаем не было слышно, но калитка распахнулась.

— Здравствуйте, — улыбнулся я. — Я Дмитрий, журналист из Москвы, вам должны были передать, что я приду.

— Здравствуйте, — тихо улыбнулась сухенькая невысокая старушка в белом платочке под серой шалью и тихо и твердо добавила: — Много вас, журналистов, тут ходит. Ничего рассказывать не буду, до свидания.

Сверкнул из-под белого платочка упрямый низовский лоб, и калитка, скрипнув, закрылась.

Вот так. Но на этот случай у меня был аргумент. Я снова постучал в стекло веранды. Собака рвалась с ошейника так, что вероятно совсем перерезала себе горло, и лай перешел в сипенье и просто-таки предсмертные бульканье и ахи.

Ситцевая занавесочка на окне чуть отодвинулась. Выглянули голубые, треугольные, как у Арсения, глаза. Тонкие сухие губы под чуть нависшим носом задвигались, складываясь в неслышные слова, но рука замахала, отчетливо давая понять их смысл.

— Антонина Ивановна! — заорал я, перекивая сип, бульканье и гавканье со двора. — Я от Арсения! Иннокатьевича! У меня! Письмо! От него!

И замахал в подтверждение извлеченным из папки голубым прямоугольником. И вспомнил, как в Москве перед поездкой, Низовский, посмеиваясь, написал несколько строк, загородившись от меня широченной спиной, картинно облизнул клеевой край и, запаковав, передал мне конверт:

— Без этого к матери и не суйся. Не пустит. Ахаха!

Антонина Ивановна не слышала и задернула занавеску на окне. Положение становилось отчаянным. Я стучал и кричал, собака рвалась, гремела каторжной цепью, лаяла, и я не слышал уже сам себя. А занавеска больше не открывалась. Меня прошиб холодный пот. Первый раз я почувствовал, что означает это выражение. Я видел, как рассыпалась моя неизданная книга, как вылетела из нее вкладка с черно-белыми фотографиями, оторвалась глянцевая в строгих тонах обложка, упала и закатилась под калитку, прямо под лапы изнемогающей псине.

С отчаяньем смертника я застучал в стекло так, что больно стало костяшкам пальцев, стучал так, что еще чуть-чуть и вылетело бы стекло и настал мне конец. Занавеска откинулась. Во весь рост я увидел сухенькую выпрямившуюся старушку, ее гневные глаза и четко прочитал по губам:

— Сейчас спущу собаку!

И тогда я сделал то, что не должен делать ни один честный человек: оторвал край конверта, просто разорвал чужой конверт, выхватил вложенный лист и приложил его лицевой стороной к стеклу, напротив гневных голубых глаз.

Настала тишина, собака заткнулась на полувзвояе. Только было слышно, как скребет по стеклу лист бумаги под моей трясущейся рукой. Мне не видно было лица матери Низовского из-за листка. И хорошо, что ей не было видно моего лица тоже. Я закусил, придерживая, пляшущую губу. И так стоял, словно приклеенная к липкой бумаге муха.

Вдруг калитка снова распахнулась.

— Здравствуйте, заходите. Что ж вы сразу не сказали. Так нехорошо получилось.

Я скомкал листок в карман.

Антонина Ивановна отодвинулась вглубь, шире открывая калитку:

— Заходите, заходите, Митенька.

— Эм-м-м, — шагнул я во двор и замялся. Еще шаг и я попадал прямо в пасть огромного волкодава, стоявшего на задних лапах и висящего горлом на ошейнике. Он молча и страшно рвался вперед, и цепь звенела при каждом рывке.

— Не бойтесь Абрека. Бесится, что не может вас достать и облизать. Телок бестолковый.

Она смело схватила сухой ручкой за ошейник, оскаленная пасть повернулась к ней, вывалился огромный розовый язык и лизнул хозяйке щеку, сбивая платок набок.

— Но-но, дурень, прекрати. Проходите, Митя. Проходите быстрее в дом, зализет совсем.

Я, опасливо оглядываясь, проскользнул по плитам дворика, чуть не упав на собачьей слюне. Пес радостно взвизгнул и рванулся, но старушка повисла на поводке и удержала.

По деревянным ступенькам я проскакал в открытую дверь веранды. За спиной послышалась возня, обиженный щенячий скулеж, и Антонина Ивановна поднялась за мной и закрыла дверь.

— Как вы с ним, — уважительно покачал головой я, поворачиваясь к ней. — Просто коня на скаку... настоящая русская женщина.

— Да что вы, — Антонина Ивановна спустила пуховую шаль на плечи. — Проходите в дом, веранда не топится.

На холодной веранде рядами, поротно и повзводно лежали полчища замороженных пельменей. Аккуратные и одинаковые, как игрушечная армия.

В просторной и чистой передней, переходящей в кухню, — беленая печь. Возле печи на низенькой крашеной скамеечке Стенькой Разиным раскинулся кот.

— Скидайте доху. Вот вам тапочки, обувайтесь, — Антонина Ивановна протянула мне расшитую узорами черную пару. Я взял из протянутой руки тапочки, и она как-то замерла в этом движении, застыла, чуть наклонив голову набок, смотрела голубыми до прозрачности глазами, словно что-то хотела спросить. Я тоже наклонил голову и ожидал вопроса, мысленно прикидывая, взял ли с собой удостоверение.

За печкой зашебурились, и выглянула совсем древняя старушка, тоже в белом платочке, тоже с низовским лбом, бабушка!

— Драстуйте, доброво ранку.

— Здравствуйте, здоровеньки, как говорится, булы, — поклонился ей я. И не успел зыркнуть любопытным глазом, как бабушка скрылась за печкой. В печке затрещали дрова, кот дернул кисточкой уха и снова застыл.

Антонина Ивановна легким шагом скользнула к печке.

— Степка, брысь, варнак, — без всякого почтения свергла она атамана. — Садитесь, пожалуйста, обувайтесь.

Широченные шерстяные шаровары проплыли в зал, и только презрительно ткнул в нашу сторону кончик хвоста. Антонина Ивановна мягкими тапочками прошагала за хвостом, откинула легкую занавеску в проеме двери. Я ступил следом, и тут меня потянули за рукав. Я обернулся:

— Хлопчик, ты про Арсенюшку нашово будэшъ писаты?

— Да, бабушка.

— Ты ево побачишь?

— Ну, конечно, я его увижу, как вернусь в Москву.

— От добре, — и исчезла опять за печкой.

Я пожал плечами и шагнул за занавеску. В зале было четыре окна и до краев ярилось солнце, я зажмурился. А когда открыл глаза, увидел на стене портрет. На холсте маслом, в раме. Та самая нахальная фотография, в шляпе, с сигаретой в небрежных губах.

— Это Арсений Иннокентьевич, — уважительно сказала мать.

— Я знаю, — улыбнулся я. — Его все знают.

— Ну, вы побудьте пока тут, располагайтесь, Дмитрий, как по батюшке?

— Да можно просто Дмитрий.

— Ну хорошо, посидите, Дмитрий, маленько, телевизор вот посмотрите. Первую программу хорошо ловит. Я сейчас пельмешков наварю.

— Антонина Ивановна, не надо пельмешков, спасибо большущее, я сыт, вот честное слово, — я прижал руку к сердцу.

Но Антонина Ивановна, легкая, сухонькая, уже вылетела за дверь.

— Вот так, — сказал я коту. — Знаменитое сибирское гостеприимство.

Кот посмотрел на меня разбойничьим глазом, зевнул саблями клыков, вытянул разом передние лапы и завалился в середине зала на пушистом ковре.

Я не стал располагаться, а огляделся по сторонам.

Из зала выходили еще две занавешенные двери, стоял большой полированный стол, кресла на деревянных ногах, застекленный шкафчик с посудой. На окнах накрахмаленный негнувшийся тюль. Цветы на подставках. Телевизор с вязаной накидкой. Родной дом Арсения Низовского. Я пожалел, что не взял фотоаппарат. «Ну, ничего, — подумал я. — Дорожку проторил. Вернусь еще».

На противоположной от портрета стене над диваном — такая же рама. Коллаж из старых фотоснимков. Я приблизился и прищурился. Лобастые, неулыбчивые, сложившие крестьянские руки предки Арсения. Вот свадебное фото, крупные лица, строго глядящие в объектив, важное событие. Как похож на него. Отец, наверно. А рядом, да, лоб, глаза, Антонина Ивановна, чуть подведены губы, немного подвиты волосы. Я смотрел на фотографию родителей Низовского, в очередной раз поражаясь чуду. Как ребенок может иметь такое сильное сходство с двумя совершенно разными людьми. Вот светлоголовый мальчик. Арсений? Прямо как я описывал в квартире старой учительницы — вихор, загорелая рука, букет георгинов, распахнутый до дальше нельзя ворот. Вот он же постарше. Его фигура аккуратно отрезана от целого снимка, видно рядом плечо, полноги. Вот еще старше, теперь ясно, похож, да не Арсений. Чуть пониже, чуть пожиже. Фото тоже отрезано. Вид жениховский, в кармане франтовато белый платочек. Рядом кусочек белого платья, что-то легкое, фата? Вот маленькая девчурка, безусловно той же породы. Тоже выкроена из снимка. Еще фото. Солдат, пилотка набекрень, шальные глаза, полногубая улыбка. Вот совсем взрослый, пордевшая шевелюра, краешки пухлых губ чуть вниз. Под руку Антонина Ивановна, заглядывает в его лицо сбоку.

— Это Алешенька, — прошуршала занавеска, и Антонина Ивановна стала рядом, так же как на фотографии, ласково глядя на сына. — Младший мой.

Я оторопел. Передо мной расстилалась неизведанная земля, терра инкогнита. С жадной робостью первооткрывателя (не вспугнуть, только не вспугнуть) я, теряя под пальцами пуговку, отстегнул карман и вытянул диктофон. Никто еще, никогда не писал про брата Низовского. Это я как биограф знал точно. Братская тема. Я первый, первый, звенело во мне.

— Сейчас пельмешки будут, — мать коснулась рамы, словно поправляя, невзначай пальцем погладила лацкан пиджака на фото Алексея.

— Подождите, Антонина Ивановна, пельмешки потом, — жалобно попросил я.

Но меня не слушали. Антонина Ивановна нырнула в занавеску, и плеснуло из кухни дразнящим ноздри запахом.

Слегка осоловев от поглощения устрашающего количества пельменей, обильно одобренных маслом, я внимал рассказу Антонины Ивановны:

— Арсений самосто-оятельный, ох и самостоятельный, — Антонина Ивановна укоризненно посмотрела на молодежавшего Низовского. — Да вот что-то не женился до сих пор, детками не разжился. Алешенька-то наш вон какую славную девчурку нам родил, Настеньку. Вот жена только досталась ему, настрадался он с ней. Аферистка. Парню голову задурила, тьфу на нее. Вот Настенька у нас, слава богу, хоро-шшая, — Антонина Ивановна пожмурилась блаженно. Потом какая-то тревожная мысль занозой впилась в нее. — С работой у Алеши сейчас проблема. С начальством не заладилось, Алеша ж дурачок у нас честный, как думает, так все

и скажет, в отца пошел, тоже такой был, царство ему небесное. Так я Алешеньку на фабрику свою устроила, сама-то не работаю уже, так иногда выхожу. Зовут, когда подсобить надо.

Тут она замолчала и опять голову набок и вопросительно посмотрела на меня. Я решил, что настало время похвалить кулинарные способности хозяйки:

— Пельмешечки, Антонина Ивановна, ммм, язык можно проглотить!

После этих слов хозяйки обычно выдыхают, крутят головой, чуть смущенно и гордо улыбаются. Однако Антонина Ивановна не расслабилась и даже пошевелила губами, но ничего не сказала.

— Давайте, Антонина Ивановна, немного погорим об Арсении. Какой он сын, какой брат.

— Да что тут говорить, — мать задумалась. — Хороший сын, хороший, спокойный, послушный был. Все молчал да на столе что-то передвигал, играл вроде... Вот с Алешенькой я намучилась, — она улыбнулась, потом мелко-мелко засмеялась. — Я уж грешным делом думала, если б первый был такой, как Алеша, второго я б и рожать не стала. Ох-ох-ох, и смех, и грех, всю душу из меня вынул. Да и посеичас такой.

Тут она почувствовала, что отклонилась от темы.

— Маленького Арсения-то я и не знала почти. Да как все. То школа, то сад. В школе продленка. Ясли с двух месяцев, круглосуток. У нас работа посменная была. И у меня, и у Кеши, сутками дома не встречались. Как жили... Вот мама помогала, спасибо ей. А только аттестат получил, вьюить — и в Москву. Рюкзак на плечо, и прощай. Даже не спросил нас. Арсений — хороший сын, помогает нам. Всегда помогает. Деньги шлет, — с нажимом произнесла она. — И нам с бабушкой, и Алешеньке помогает. Хороший брат.

Она помолчала.

— Ну что вам еще сказать? Вроде все, что знала, рассказала.

Она опять мелко засмеялась:

— Вы, наверно, Митя, больше моего про Арсения знаете. Ну что вам сказать? Фильмы вот с ним больно любим смотреть, и бабушка от печки своей оторвется, и Настенька на коленки сядет. И сидим так ладком и стар и мал, и поплачем, и посмеемся. Хм, один вот фильм забавный, про Сочи там...

— Э-э, «Сончас» называется.

— А, да, «Сончас», там он смешно так говорит, прям как дядька наш Петро, смотрели и ухохатывались. Ну, Петро, и Петро, не отличить. И глазом, как Петро, водит, вот так, смех один. Когда запомнить успел? Петро раза два, наверно, и видел всего... А вот последний, про Пашу Бурова, такой фильм душевный...

— «Восставшие».

— Ага, «Восставшие», Настенька наша говорит «Уставшие», так до утра потом уснуть не могла, все переживалось что-то, все вспоминалось, и так на Алешку нашего похож, такой же неугомонный, отчаюга. И как они его... Аж сердце щемит.

Она чуть шмыгнула носом. Утерла сухие губы кончиком платка.

— Ну что, Митя, покушали?

— Да, спасибо, Антонина Ивановна, накормили от души! Спасибо, неделю теперь есть не буду. Ой, а времени-то уже! Засиделся я.

Антонина Ивановна покивала.

— Пойду я, — начал я, кряхтя, выбираться из-за стола. — Я, если можно, Антонина Ивановна, приду еще раз, мне б пофотографировать дом да вас, да фотографий попросить хочу, Арсения Иннокентьевича детских, переснять.

Тут Антонина Ивановна вдруг, будто решившись, подалась вперед, дернула двумя руками кончики своего платка:

— Дмитрий Батькович, вы, конечно, извиняйте, но мы из своей жизни представления не делаем. Вы, пожалуйста, передайте то, что Арсений Иннокентьевич просил, и расстанемся на этом.

Я ошалело вытаращился на нее, и последний проглоченный пельмень ударил меня в кадык. Соображал я в таких условиях очень туго.

— А-антонина Ивановна, — заикнулся я, обдавая ее пельменным духом. — Арсений просил? Что-то я ничего не пойму.

— Вы ж письмо мне показывали?

— Ну, показывал, ну?

— Баранки гну. Давайте.

Тогда я во второй раз сделал то, что не должен делать честный человек. Полез в карман...

— В другом, — сурово мотнула головой Антонина Ивановна.

...вытащил из кармана комоч чужого письма, адресованного чужому человеку, развернул и прочитал, шевеля себе для ясности губами.

«Мать, — было написано крупным ровным почерком Низовского. — Приедет к тебе Дмитрий с письмом. Немного поспрашивает про меня. Передаю с ним десять тысяч руб. вам с Лешкой. Всех люблю. Арсений».

— А-арсений, — повторил я.

— Ну? — нукнула теперь Антонина Ивановна.

— Ааа, — звонко хлопнул я себя по лбу. Да перестарался, так треснул, что зомом отдалось в голове. — Забыл, забыл, уважаемая Антонина Ивановна, забыл. Я принесу, да-да, принесу.

Антонина Ивановна, набычив низовский лоб, смотрела недоверчиво.

— А я ж и хотел сказать, приду пофотографирую, все а-атдам. Конечно, не сомневайтесь. Забыл, просто забыл, бывает ведь.

Антонина Ивановна не оттаивала, жевала губами.

— Ну, спасибо за гостеприимство, пошел я.

— Когда придете?

— З-завтра и приду, с утра сразу и приду, чуть свет, как говорится на ногах... — лопотал я, прикидывая, где насобирать до завтра. Ну, Низовский, ну, шутник, мать его...

— А может, вас до гостиницы проводить? — мать его не шутила и уже тянула со шкафа серую шаль.

— Нет, зачем же вам утруждаться, мороз, ветер. Не, не надо, — и видя, что белый платок уже почти скрылся под шалью, отчаянно завопил. — Не-ет! Мне еще в редакцию надо зайти. Дела у меня. Уф-ф.

Шаль в задумчивости остановила восхождение.

Атаман прицелился из-за сухонькой ноги безжалостными черными зрачками. Веры мне не было.

Стараясь не поворачиваться спиной и непрестанно кивая:

— До свиданья, до свиданья, — я вывалился на холодную веранду.

Отступал мимо ничуть не поредевшего воинства пельменей.

Катился, споткнувшись, с крыльца. И шлепнулся прямо под ликующую морду, заслонившую мне полнеба. И закрыл голову руками.

— Хлопчик, вставай, не бийся. Абрек, фуу.

Я сел. Абрек тоже. Плюхнулся мохнатым задом, пошатнув землю. Между нами стояла бабушка Низовского, божий одуванчик, с его глазами и лбом. Не висла на псине, не кричала. Но волкодав, доходивший ей башкой до подбородка, сидел не шевелясь.

— Не бийся. Дурнэнький вин у нас. Ти, хлопчик, будь ласка, передай Арсенюшке, — она протянула мне холщовую сумку, скрученную в трубку и

перевязанную бечевкой. — Передай моему онуку. Там цукерки, вин любить. Носочки, сама вязала, тепли. Грошей трохи. Нехай купить шо-нибудь вид бабуси. Ну, вставай.

Молча я взял из рук бабушки узелок, на миг почувствовав теплую сухость кожи.

— Зляквся, — она погладила меня по голове, отворила калитку. — Ну давай, с богом.

И перекрестила вслед. Я все шел по улице, оглядывался, спотыкался, а она все стояла в открытом проеме калитки, не опустив руки, только прислонив ее к краешку губ.

Я последний раз оглянулся. Она отняла руку ото рта и то ли махнула, то ли еще перекрестила, мне уж было не разглядеть.

Я шел и шел до гостиницы и никак не мог дойти. Поднялся ветер, рвал с моей головы шапку, вбивал в лицо сухую мелкую крупку, задирали полы мгновенно и беспомощно выстудившейся дорогой московской дубленки.

Я плакал. Мужской горячей слезой, всхлипывая, я плакал, причитал на пустой улице, снова и снова сворачивая с верного пути, кружил по Берягину. Я плакал о Низовском так, что у меня скручивало все внутренности. Я жалел его маленького, я крючил пальцами воздух, пытаюсь взять за руки его двухмесячного, плачущего в ночных яслях, я топырил до боли пятерню, отталкивая от матери кукушонка Алешку. Пятерней прямо в лицо. Я таращил опухшие от снега глаза, стараясь разглядеть, что он перекладывает там на своем детском столике.

Я орал в пустоту безмолвно, в желтые глухие окна, в синюю метель: почему вы его просто не любили?! Как вы могли?! Первый поцелуй?! Разве так можно с человеком?! А вот этого не хотите?! И наотмашь, наотмашь!.. Стискивал кулак, хватая его за рюкзак. Сто-ой! И прижимая его изо всей силы к своему боку, почувствовал торчащий из кармана холщовый край свертка, уже подмокающего в этой адской круговерти.

Я осторожно вытащил сумку, отряхнул снег, шмыгнул последний раз носом и переложил ее за пазуху, в тепло.

К утру я насобирав десять тысяч. Свои командировочные, аванс за будущую книгу. Занял у дежурной по этажу и всех ее знакомых под честное-благородное слово. Дежурной пообещал первый экземпляр книги с автографом самого Низовского, почти ничем не рискуя. Денег осталось впритык на плацкарту, на боковушку. Ну и ладно.

Подбывая утром уже начинающие сесть виски, я был решителен и тверд. Водил у виска настырно жужжащим прибором и смотрел в окно. Метель улеглась, и из-за серых туч намеком сквозило солнце. Намело так, что гостиничный дворник, согнувшись в пояс, с трудом вздымал выше себя лопату.

Я перезарядил в темной ванной фотоаппарат и перемотал на начало кассету. Я был готов к бою.

Побритый и решительный, в чистом белье, в 10.00 по местному времени я вышел из номера. С дипломатом в руке и тяжестью фотоаппарата на шее.

Я кивнул дежурной по этажу и гулками шагами спустился на первый этаж.

В холле первого этажа серая шаль на белый платок сидела мать Арсения Иннокентьевича Низовского.

— Здравствуйте, — поднялась она мне навстречу. — А я вот подумала, чего вы будете по снегу к нам тащиться.

Она махнула на витринное окно холла. В холле никого больше не было, лишь клевала носом регистратор за стойкой. Мерно капала где-то вода. В сереньких сумерках, почти вплотную за стеклом, шкрябался дворник в мохнатом жилете на распахнутую синюю рубаху.

— А вы как добрались?

— Да я с Алешенькой, заодно его на фабрику проводила, тут рядом все... Чтоб вам не утруждаться.

Я положил дипломат на журнальный столик у дивана, клацнул замками, вытащил пакет с деньгами.

— Вот, возьмите, простите, что забыл передать сразу. Как просил Арсений.

Антонина Ивановна заметно выдохнула:

— Да ничего, конечно, бывает, я понимаю, ничего.

Она заглянула в пакет, свернула брусочком и аккуратно отшлифовала ладонью.

— Но, Антонина Ивановна, как же, я хотел пофотографировать дом еще, вас.

— А чего дом? А я вот она, фотографируй на здоровье, — она села на низкий диван под искусственную пальму и выпрямилась. — Пожалуйста, я готова.

Стиснув зубы и качая головой, как будто у меня разболелась челюсть, я вынул фотоаппарат из кобуры, настроил экспозицию и щелкнул вспышкой маленькую сухонькую сибирскую старушку под заморской раскидистой пальмой.

Больше мне в этом городе делать было нечего. Пока расчищали дороги, пути и вокзал, я лежал пластом на койке. А то, повернувшись и подперши голову рукой, смотрел на фотографии, выставленные на белой тумбочке. Большой портрет с любовно приклеенной подставочкой сзади: бесстыдные глаза, шляпа, подретушированные губы, сигарета. Фото с девичьей тумбочки первой любви. И прислоненная к нему детская фотография. Ее, завернутую в газетный листок, передала вчера мама Низовского:

— Вот еще я вам фотку нашла, можете забирать.

— Переснять? — трепетно потянулся к ней я.

— Да можете совсем забрать. Это бабушка наша вчера откопала и отдала совсем. Для своего унучика, хмм. Пусть у вас.

На снимке была знакомая беленая печка. И, прижавшись к ней спиной, стоял Арсений. Лет пяти. В перекрученных колготках, майке и почему-то валенках. Незнаваемый и тот же самый. Хохочущий во весь рот. Смеющийся глазами, вздернутым носом, сбившейся на животе майкой, гармошкой колготок под коленками, даже растопыренными носами упертых в половицы валенок.

Столько бесшабашного мальчишеского озорства было в этом фото. Столько радостной щенячьей любви обращено к неизвестному фотографу, что ее волной выбило объектив и затопило мою одинокую комнату.

Я засмеялся и легонько пальцем перевернул фото лицом вниз на тумбочку и остался с глазу на глаз с томным взглядом Низовского. «Ваш нежный рот сплашное целованье»*, — проблеял я ему, щелкнул по носу и опрокинул тоже.

* М. И. Цветаевой. — Прим. авт.

Я думал, мне неловко будет смотреть Низовскому в лицо, и все откладывал встречу. Но в конце концов достав папку из похороненного в углу дипломата, взял ее за краешек и, далеко отставив от себя, поплелся на Мосфильм.

— Га, биограф явился! — тряхнув удалым казацким чубом и сверкая кольцом серьги, вскричал Низовский, раскинув руки и приседая широченными вырви-глаз шароварами. — Я уж соскучиться по тебе успел!

И неловкости я не почувствовал.

— Подожди, козаче, закончу.

Я сидел за софитами, читал интервью Низовского «Российскому экрану» и блаженствовал. Низовский был неподражаем, в пух и прах разгромил тамошнего интервьюера. Смакуя, я несколько раз перечитал заголовок «Офелию мне, к сожалению, уже не сыграть», и от восторга толкнул в бок усатого оператора Володю Смородина, видал, а? Володя кивнул огромными наушниками в сторону съемочной площадки, сверкнул зубами и показал большой палец. Знай наших!

— Устал, — сказал Низовский в перерыве, разматывая плотный кушак, бритая голова лоснилась от пота. Он не пошел в гримерку, приткнулся рядом со мной на барьерчике. Блестел грим-загар, синевой отсвечивала подводка нижнего века. На верхней губе дрожали мелкие капельки. — Ох, устал, брат. То ляхи, то турки, бес их заберет. Закончу, и рванем с тобой куда подальше. Отдохнем от всех.

Меня накрыло теплом благодарности.

— Хотя... на биса ты мне сдался, — захохотал он. — Вон, студенточку подвачу из своих, из группы. Гарны дивчины есть.

Я внезапно окрысился.

— Конечно, пожалуйста, любая за вами пойдет. А мне, к великому прискорбию, по отпускам разъезжаться не на что. Все, — подчеркнул я слово, — все спустил в командировке.

И потрогал чернильный крестик во впадине между большим и указательным пальцем.

Арсений положил мне тяжелую руку на плечо, развернул к себе, заглянул в глаза:

— Знаю. Спасибо, брат. Ей-богу, не хотел тебя подвести. Закрутился, все из башки вон. Я должен тебе. Отдам с лихвой.

Сжал плечо до хруста, резко встал и ушагал за прожекторы. Как в фильме про командира Володю...

— Ну, вот, топится отлично, — Володя Смородин, непривычно большой в унтах и стеганой куртке, поднялся от камина и поставил кочергу. — Сейчас прогреется, да спать ложитесь. А я рвану.

Он посмотрел в низенькое оконце:

— Снег скоро. До утра будет мести. А с утра...

— С утра мы на лыжи и в ружья, — подхватил Низовский, развалившийся, не снимая тулупа, в кресле и благодушно помаргивающий на огонь.

— Да, с утра в лес кагите, следы перед вами, только читай.

— Не учи ученого, бродяга! За мной сибирская тайга-матушка.

Володя пошевелил усами, улыбаясь любимцу:

— Ну, давайте, мужики.

И звонко хлопнул нас по протянутым ладоням.

На улице Володю ждал снегоход «Буран»:

— Через неделю заберу вас отсюда, отощавших.

— Шалишь, брат, дичи набьем, тебя еще угостим. Митяя вон научу... стоя срать, ахахаха, — расхохотался Низовский.

Я тоже засмеялся. Мороз пощипывал щеки, кругом был лес, снег, воздух такой, что дух захватывало с непривычки, смоляной, терпкий. И полная свобода на неделю.

Володя Смородин закинул нас в охотничий домик своего тестя в Подмоскowie. Низовскому, и правда, нужно было отдохнуть. И он таки да позвал меня. Я согласился без раздумий, хотя сроду не охотился и предпочитал комфорт суровому мужскому быту. Новенькая финская спецодежда еще пахла магазином, и необмятые валенки немного мешали в сгибе ноги.

«Буран» взревел, взметнул, окатил нас снежной пылью и унесся, подвывая.

— Фу, черт, — Низовский утер лицо.

Мы постояли, слушая, как медленно сменяется космический грохот «Бурана» безмолвием зимнего леса.

— Эге-ге-геееей!!! — заорал Низовский залихватским запорожцем.

Но звук не пошел, потерялся в чуть качнувшихся еловых лапах. Ветер пыхнул в лицо сырой стылью.

— И точно Володька сказал, снег скоро будет. Пошли, Митяй, в дом.

— Идите, догоню.

— До ветру, что ли, — всохотнул Низовский. — И какое к черту Вы? Нет, паря, на охоте только ты, понял? Понял, отвечай?

Арсений, смеясь, толкнул меня с дорожки в снег. Я, не ожидая, покачнулся, схватил его за рукав, и мы завалились в сугроб. С головой, как в детстве, барахтались, отплеывались, и мне даже удалось накормить знаменитого Низовского снегом. Шапка свалилась с его бритой запорожской башки, снег попал за шиворот, но он, изловчась, вывернулся, зарычал, и тут уже мне пришлось туго. Я запросил пощады.

— Ага! — сверкал глазами Низовский. Из-за черноты, въевшейся в кожу век подводки, глаза казались особенно выразительными. — Горлы резаты!!!

— Ай, — я провалился в сугроб так, что не мог самостоятельно встать. — Дайте руку!

— А хрен тебе! Как правильно?

— Руку дай, — прохрипел я.

— Держи, — он протянул ладонь. И не успел я в очередной раз подивиться, откуда у него, не занимающегося физической работой, такая сильная мужицкая лапа, как он выдернул меня из снега и рывком поставил на ноги.

В домике было полутемно. Догорал огонь в камине. Лампы погасили и залегли на нары, по совету Низовского настелив под спальные еловых лап. С непривычки не спалось, чудные городскому уху скрипы, потрескивания настораживали. Успокаивал знакомый звук сухого царапанья метели по стеклу.

— Завтра с охоты ба-аньку зато-опим, — зевнул Низовский. — Три шкуры с тебя спушу. Это тебе не в «Кадушке».

— Да я не особый любитель банек.

— А чё-о? Банька душу моет.

— Не знаю, не приучен как-то. С детства, наверно надо.

— Ниче-о, я тебя, паря, отпарю, чтоб ты ад и рай увидел. Чтоб душа сначала свернулась, а потом развернулась, а потом...

В камине стрельнуло. Мы утавилились на огонь. Помолчали.

— У меня в детстве печки не было, — сказал я. — Паровое отопление. Мы в кочегарку бегали смотреть, а нас гоняли оттуда.

— А мне, помню, нравилось смотреть, как бабушка печку топит. Видел нашу печь?

— Ага, — по-сибирски ответил я.

— Во. Темно, свет почему-то не зажигают. Я сижу за столиком детским...

Я вздрогнул.

— ...трехногий такой, с зеленой крышкой. Дома никого. Бабушка заходит с улицы, ставит у печи два ведра, уголь, сверху полешки. От бабушки морозом пахнет. Дверцу откроет, огонь гудит, пышет. Лицо у нее красное становится, кочергой шурует... искры летят, отсветы по комнате. А я как замороженный сижу... Хм... Вспомнил, аж тепло стало. Прямо вижу бабулю свою... Помню, как ведро брякает о железный лист перед печкой... как гудит в трубе... вот будто здесь все, — он вытянул к огню руку с растопыренными пальцами, покрутил, вздохнул и засунул обратно в спальник. — И нет ничего...

— А почему ты не съездишь к родным, к бабушке своей? Жива же она, — осмелился я спросить, как можно только в темноте и тишине.

— Эхехе, Митя, а кто я, чего приеду. Детей не родил, жену не привез. Ни одну из своих... жен, — он усмехнулся. — А фильмы, что фильмы, это ж не я. Спектакли, мультики, награды, озвучка... все мимо.

— А бабушка ведь любит тебя, — почти прошептал я. Но Арсений услышал.

— Бабуля моя, она, знаешь... — подскочил он на локтях. — Гостинец ты передал от нее. Она помнит до сих пор, какие конфеты мне нравились. Знаешь, какие?

— Какие? — загорелся от него я.

— «Гусиные лапки», — тихо и счастливо он засмеялся и бухнулся обратно.

— Здорово, — сказал я.

— Ага, с собой взял, чаю завтра поъем. И носочки ее, вот они, на мне. Смешно... А на грóши, что от нее, знаешь, чего купил?

— Чего?

Он хихикнул школьником:

— Смеяться будешь.

— Не, не буду. Когда я смеялся?

— Билет в кино, — он стеснительно заржал, дрыгая спальником.

— В кино?

— Ну, говорю ж тебе, смеяться будешь, — он покрутил головой. — Мы с ней в кино выбирались иногда. Праздник такой был. Разгуляй.

— А что там в кино сейчас, кроме тебя, идет? — я мысленно представил репертуар. — Себя смотрел?

— Ничего, кроме меня, не идет, провались он, — пробурчал Низовский внешне расстроено. — Пошел в кинотеатр повторного фильма. Там «Пиратскую историю» крутили, древнюю, как мамонт. Да и там, забыл, черт, озвучка моя. Ну, ладно, вытерпел.

Я засмеялся. Представил себе, как Низовский надевает кепку по глаза, черные очки, шарфом обматывается, чтоб не узнали, и тащится через весь город смотреть фильм, который пока озвучивали, перемотали весь на пятьдесят раз по кадру.

Низовский засопел, проворчал обиженно:

— Сказал, не будешь смеяться.

— Я не со зла.

Я попытался сдержаться, но меня словно прорвало. Смех выбивался через нос, щекотал. Я надул щеки и прыснул, аж закашлялся. Ох, Низовский мой, Низовский...

Низовский сопел все громче и закатился басом:

— Ахахаха!!!

Мы смеялись, всхлипывали, ржали, хрюкали, утирали слезы, взвизгивали, бились в своих спальниках. И сквозь смех Низовский простонал:

— Столько смеемся сегодня, плакать будем...

А наавтра...

Наавтра я тащил на себе Низовского, а тот стонал и свистел сквозь стиснутые зубы. Мой финский комбинезон был весь в крови. Крови Низовского. На его тулуп и то, что ниже, я старался не смотреть. Там все было ало, черно и страшно.

— Черт, черт, — рычал Низовский и плакал от боли. — Как же так.

Ружье Низовского, стреляного, опытного таежника, подвело хозяина. Бабахнуло от случайного удара о поваленную гнилую елку, притаившуюся под снегом на нашем пути.

У Низовского было прострелено бедро. И кровь толчками, и клочья ватника в ране — картина, на которой маслом написано — потеря крови и сепсис.

Мне было даже не страшно. Я закаменел. И просто тащил и тащил Низовского, ничком поваленного на собственные широкие лыжи.

Связи не было. Был бинт, был йод, была водка. Володя должен был приехать через шесть дней. Шесть. Дней.

Я опрокинул тяжеленного Низовского на нары и дальше от ужаса все сделал спокойно и как надо. Разрезал охотничьим ножом мокрую штанину. Полил вздрагивающее бедро водкой, водкой же обмыл руки, подумал и через стиснутые зубы влил Низовскому полстакана. Он как-то сразу и резко обмяк.

Тут я осмелился разглядеть рану. В ноге было входное и выходное отверстие. Значит, навьлет. Я помнил, что это хорошо, но почему — не помнил. Я выбрал клочки ваты из раны, этому помогала выталкиваемая кровь.

— Тсс, — зашипел Низовский. — Чо ковыряешься? В носу у себя так ковыряй.

— Я все, все.

Тут я подумал, что надо остановить кровь, вспомнил что-то об артериальных кровотечениях и о том, что надо прижимать какую-то точку, в паху вроде, и перетянуть выше раны.

Я перетянул, прижал, кровь притихла. Я налил сверху еще йоду и перебинтовал, как не умел. Низовский лежал, откинувшись спиной на подушку, и трудно втягивал воздух сквозь зубы, как будто разучился дышать носом. Кровь проступила через бинт и начала чернеть, остановилась.

Ну, все. Я сел на табуретку возле постели и опустил руки между колен. От рук нестерпимо тянуло водкой и кровью, и хотелось убрать их подальше от себя. Теперь, когда я сделал все, что мог, я понял, что это слишком мало, что помощь придет не скоро, что надо в больницу, уколы, перевязки, может и операцию, и надо быстро. Я почувствовал, как поднялись и зашевелились легкие волосы на голове.

Тут Низовский перестал сипеть, открыл голубые замутненные глаза и сказал:

— Что, паря, влипли мы с тобой.

Веки упали. Опять посипел, подышал, высоко поднимая грудь. Снова открыл глаза, усмехнулся кривым ртом:

— Тебе, биограф, повезло как никому. Личное присутствие при смерти Низовского — это, брат, дорогого стоит. Достойное завершение твоей книги. Публика

любит трагические концы. Опишешь там подушечипательней... Жаль, фотоаппарата нет.

Я подлетел со своей табуретки и завизжал неожиданным фальцетом, потрясая сжатым кулаком и совсем уж неприлично брызнув слюной:

— Дур-рак!!! Я б тебе сейчас так вмазал! Так!.. Если бы не...

— Что? Что? Ахах, — захохотал Низовский почти как прежде. Скривился набок, выправился. — Специально, Митя, тебя разозлил, а то ты от страху уже того, штаны попортил. А они у нас теперь на двоих одни остались.

Я ржал пальцы, опустил на табуретку, прислушался к себе: да, действительно, первый парализующий ужас отпустил.

— И фотоаппарат у меня есть, — пробурчал я, отворачиваясь.

— Низовский в роли поверженного лося, ахах, такого я еще не играл. Хотя... вру, и это было, вот же, точно, мультфильм, ах... Сохатого озвучивал, его там деревом, что ли, придавило...

Я повернулся к Низовскому, невольно улыбнувшись, и увидел, как ему больно. Губы подергивались, высоко подтягивая краешек вверх, словно Низовский все собирался цыкнуть зубом, ползла к переносице одна бровь, на лбу выступила испарина.

— Ты вот что, друг дорогой, шутки шутками, покопайся-ка в местной аптечке. Антибиотики... болеутоляющее... что есть.

— Хорошо, — я поспешно вскочил, лишь бы не видеть, как его лицо все больше становится похоже на лицо умирающего Пашки Бурова.

В аптечке был только парацетамол и анальгин без сопроводительных инструкций. Пошарившись в редком неводе своей памяти, я решил, что парацетамол — это жаропонижающее и обезболивающее, а анальгин — просто обезболивающее, и что они оба несовместимы с алкоголем, поэтому решил повременить и дать их Арсению позже.

Низовский заснул, или не было у него уже сил открывать глаза. К дыханию его прислушиваться не было необходимости: как он дышал — слышно было, по-моему, даже на улице. Я то валялся одетым на своей постели, то метался: выскакивал на крыльцо, глотал воздух, бегал туда-сюда по двору и смотрел почему-то в небо, очевидно ожидая, что спасение придет оттуда. С неба сыпалась иногда сухая крупка, типа манки. Манна небесная, думал я каждый раз и переглатывал застрявшую в горле сухую слюну. Потом уставал и опять падал на постель. И вдруг уснул, вырубился, хотя ожидал, что буду бдеть у постели больного, не смыкая глаз, как в порядочных книжках.

— Знаешь, — разбудил меня в ночи тихий вдумчивый голос Низовского. — Оказывается, совсем необязательно испытывать такую боль, чтоб ее сыграть.

В комнате было холодно и темно. Погас камин, я забыл подбросить дрова.

— Что вы?.. Что ты говоришь?

Я встал и зашарил ногами, отыскивая тапочки, и чуть погодя понял, что на ногах у меня валенки. Ноги затекли.

— Говорю, вот сейчас, когда мне больно, адски больно, я точно так же корчусь, как Пашка Буров... ровно ничего не прибавив к образу... Так зачем все это? Боги мои, зачем?.. Тот же свист при дыхании... тот же оскал кривой на больную сторону, брови, пот... Я все это делал и так. Ничего нового...

«И тот же конец?» — подумал я и закрыл глаза, чтобы не видеть этого даже в темноте.

— Сейчас, Арсений Иннок.. Арсений, погоди, я огонь разведу, тепло станет, легче.

— Огонь? Зачем огонь, и так жарко. Нога горит просто.

При этих словах меня самого словно в вар сунули. Прошиб пот от мгновенной догадки. Все плохо, жар.

Я засуетился, быстрыми движениями и многословной речью отодвигая от себя беду.

— Не, не, не жарко, что ты говоришь такое. Сейчас, сейчас, вот у нас дровишки тут. Вот спички где-то на полке, ой, нет, не на полке, на столе же оставили. Вот газетки еще клочок остался, сейчас все зажгу. Ну, все не буду, конечно, хехе, так только, домашний, так сказать, очаг. И все хорошо будет, все нормально. Вот, горит уже. Вот какой огонек хороший. Не хуже, чем у бабушки получилось... Да, Арсений?

Я повернулся к нему, мысленно зажмурившись, а наяву скрестив пальцы в кармане на удачу и выпучив глаза.

Лицо Арсения было красным в свете огня и каким-то запрокинутым. «Красное, это ничего, — подумал я. — Красное — это просто отсветы, отблески, просто блики».

И включил все же свет. Свет был только верхний, он толкнул по моим вытращенным глазам так, что я осадил назад. Арсений даже не зажмурился, глаза его смотрели в потолок, губы что-то бормотали, и лицо пламенело.

— Что, Арсений? Что ты говоришь? — опять повторил я.

— Не хуже, чем у бабушки... у бабушки... бабушки... мамушки... братушки...

Я перекрестился. Но только мысленно. Скрещенными пальцами чуть помахав в кармане. И на полусогнутых метнулся к аптечке.

— Вот, Арсений, попей, тебе легче будет. Вот таблетки, глотай, давай, молодец, — я втолкнул ему и парацетамол, и анальгин. Арсений поперхнулся, и я застыл в ужасе, что он не сможет проглотить таблетки, на которые одни теперь только я уповал. Но он все же проглотил, мотнув из стороны в сторону башкой. И у меня чуть отлегло. — Вот, и ложись давай, баиньки, полегчает.

Пока я придерживал его голову, почувствовал, какой жар идет от него. Градусника в избушке не было.

Я сидел, положив его голову себе на колени, и то и дело переворачивал мокрую тряпку, сползавшую с горячего лба. Больше я ничем не мог помочь, и поэтому это дело стало самым важным. Я заботливо расправлял лоскут на высоком блестящем лбу, тут же поправлял чуть по-другому, чтобы не лезло на глаза, сейчас же понимал, что нижняя сторона уже нагрелась, переворачивал остывшей стороной на кожу. Пока переворачивал, щупал лоб, сам себе озабоченно цокал языком: вроде спадает жар. И начинал все сначала.

Я смотрел сверху на запекшиеся губы, на морщинки у носа и у глаз, которые никогда не видно на экране, на голубоватые тени на веках, сквозь которые, казалось, просвечивали его яркие глаза, на проступившую какими-то клочками щетину на щеках, совсем не придававшую ему обычной мужественности. Несовершенный, земной, совсем не громовержец, беспомощный, ребенок. Я чуть прижал его голову к своему боку, защищая. Безотчетным жестом вытянул перед собой, прикрывая ему голову, растопыренную пятерню. Потом легко провел по вспотевшему шару затылка.

Арсений открыл глаза. Белки были мутноватые, с красными прожилками, но взгляд уже осмысленный, низовский, ясный. Губы разлепились:

— Ты чо тут, Митяй. Что за поглаживания? Пользуясь, понимаешь, слабостью моей минутной, приставать вздумал? Всегда вот я в тебе что-то такое подозревал.

Я счастливо засмеялся, не обращая внимания на его речи:

— Ты вспотел, понимаешь? Вот тебе и понимаешь! Температура упала, ага? Ага! Вон башка мокрая совсем.

Я еще раз чиркнул ладонью по его голове:

— И говоришь как всегда, ага!

Низовский усмехнулся:

— Пить дай, лекарь.

Я принес воды, аккуратно, как знатная сиделка, придержал, не разлив ни капли. Поправил подушку.

— Уфф, нормально. Выкарабкаюсь, где наша не пропадала. И под Смоленском, и с турками, и горел, и тонул, и хрен вам.

Арсений помолчал, отдыхая, по лицу видно было, как его отпускало. Расползлись от переносицы брови, растащив вертикальную расселину между ними. Расслабились веки, распустив сеточку морщин у глаз. Разгладились судорожно сжатые прежде носогубные складки. И, наконец, тихая улыбка сошла на губы.

— Каак ты со мной возишься, Митяй. Может, тебе меня и усыновить уже, а, паря?

Он еще попил и откинулся:

— Я, знаешь, Митя, и не помню, чтоб мать со мной возилась. Заболел сильно один раз, а ей на работу надо. Бабушка не жила с нами тогда, что ли, не помню. Мать температуру мне померила, поцокала — много, и к дверям. Надо, Сеня-сын, потерпи. Ох, я помню, и рыдал, и просил, чтоб осталась, криком кричал. А она, видно от отчаянья, наорала еще на меня, шубу запахнула и бежать. Мда, хм, ну, потом я не плакал уже и не просил. Хороший сын, спокойный...

— Я понял это, Арсений, — я пошевелил полешки. Взметнулись искры. — Когда был у вас.

— Да, не плакал, не просил, но ждатель-то от этого меньше не стал. Чтоб посмотрела, чтоб сказала чего, чтоб погладила... Мама... самая красивая, самая любимая, самая нужная... А тут Лешка еще. Ох, мы с ним и дрались. Чуть повод не повод, в драку. Как же, это я теперь только понял, мне одному любви мало, а тут еще ты. Нас по углам, за уши. А мы ночью дрались, когда не видит никто. Ложились, нам свет гасили, мы вставали и дрались, молча, страшно. Я хороший брат, заботливый, всегда помогаю...

Я промолчал, делая вид, что засмотрелся в огонь. Арсений говорил тихо, словно сам себя слушал.

— Бабушка любила меня, да, — голос потеплел. — Но мне надо было, чтобы мама... Я всю жизнь пытаюсь добрать этой любви, мне все мало и мало. У меня внутри, вот чувствую, дыра, черная, пустая, сквозная, огромная, — он поднял руки, показал, ребрами ладоней постукал по грудной клетке. — Края рваные. Туда чего ни кидай, не залатаешь. Любовь женщины, одной, второй, третьей, целый зал. Мало. Весь мир, восторги, камеры, награды — мало...

Волосы опять зашевелились у меня на затылке, я не выдержал:

— Арсений, прости, не может такого быть, чтобы мама тебя не любила. Занята была, понятно, время такое, может, показать не умела, но любила.

Он внезапно обозлился, привстал на локтях и зашипел:

— Значит, дурак я был стоеросовый, значит, так! Не видел, не чувствовал, не разгадал. Мама всегда любит. Дважды два четыре. Откуда тогда все эти люди дырявые?! Один я такой, что ли? На Лешку вон посмотри... Ай, — он махнул рукой, скривился и упал назад.

— Больно, Митя, как, — пожаловался он, судорожно повернув голову набок и вдавливаясь в подушку. Закусил зубами край. Там, где белая ткань подушки прижалась к глазу, поползло темное пятно.

Я, как подброшенный, подскочил и стоял рядом, не зная, чем помочь. С испугом смотрел, как лицо Арсения опять начинает краснеть. С ужасом глядел на повязку на ноге, где проступила свежая кровь. Потрогал лоб — все, что мог сделать. Горячий. Все.

— Не выкарабкаюсь я все же, наверно, Мить, — открыл Арсений глаз, в котором опять подплывала муть.

— Не говори ерунды, — твердо сказал я. Очень твердо, все силы приложив, чтобы не тряслись губы.

— Плохо играешь, Митя, — сказал мне Низовский.

И дальше он все говорил и говорил, а я не слушал его и искал решения.

— Да и смысл мне еще жить. Меня и нет вроде. Вот эти люди, которых я сыграл, есть. Они вот такие, — он сложил пальцы в кулак и потряс им. — Настоящие. Цельные. Про них можно говорить, про них весь мир спорит, думает о них, критики копыя сломали. А что обо мне скажешь. Нет, не был, не состоял, — он усмехнулся.

А я в этот момент прикидывал: вот оставлю его одного здесь — и бегом через лес на дорогу. Дорога мимо дач, зима, никто не ездит. Пока через дачи на трассу. На лыжах толком ходить не умею. Сколько времени на это. А дальше? Просить водителя, довериться первому попавшемуся и бегом обратно, и ждать помощи? А вдруг подведет, не позовет помощь, вдруг не найдут. Ехать с ним в город? (Я мысленно схватился за голову, с воем.) А Арсений тут один, беспомощный, с температурой. Он уже, похоже, начинает бредить:

— Сколько в них влюблялось... а как в них не влюбляться: парни красавы, огонь, а я вот он. Похож, по всем статьям похож. На шею бросаются, а потом... хм... Федот, да не тот. Женщинам можно пыль в глаза пустить, хоть все глаза запорошить, а вот как жить с ней начнешь, ан нет, не Пашка я, не Буров, не Отелло, не командир Володя и даже не поэт Маяковский, вот черт... И сам любить ни черта не умею. Сыграть могу, ого, поверишь! А любить, пфе... И детей мне не дано не зря же, Митя, не зря. Природа она не дура, ее не обманешь. Не нужен я...

— Не говори ерунды, — повторил я, понимая, что должен сделать. Собственно, я сразу это знал, только боялся себе в этом признаться. Я посмотрел в окно, серел слабенький рассвет.

— Полежи, Арсений, я сейчас. До ветру. И вернусь.

Низовский захохотал:

— Говорю ж, ты как родная мать. Скажи: потерпи, Сеня-сынок...

Я обернулся от двери:

— Потерпи, пожалуйста, потерпи, Сеня-сынок.

И вышел. Заглотив появившиеся вдруг слезы.

И через несколько часов я тащил импровизированные санки по целине, напирая грудью на веревку. Пар валил от меня, как от лошади, и где-то потерял я уже свою шапку. И не спасал меня хваленый финский комбинезон, который должен впитывать пот и не пускать холод. Я оброс меленькими противными сосульками на небритой роже и дико хрипел. Низовский был тяжеленный.

Низовский лежал, закутанный во все, что мне удалось найти в избушке, на связанных между собой лыжах и сначала пытался помогать мне, отталкиваясь руками от наста, набирал в рукава снега, сбивал меня с ритма, путал. Я нарычал на него, и он перестал, послушно сложив руки.

Низовский начал сбивчиво говорить, говорил, что Мересьева он уже играл и больше не хочет, говорил, чтоб я не дурил и перестал, говорил, что даже в лучшем случае, если он выживет и останется без ноги, он все равно не сможет жить, потому что жить — значит для него играть и больше ничего, а ролей одноногих калек немного и совсем нет, поэтому пусть я брошу его и не мучаю.

Он плакал и стонал, и просил, и кричал. А я волок его, навалившись всем телом, как Абрек на поводок, и также храпел, перерезанный пополам. И орал сквозь зубы:

— Ты да я, да мы с тобой! Ты да я, да мы с тобой! Обойдем весь шар земной! Потом махнем на Марс!

И опять заводил сначала, а сосульки мелко звенели на бороде.

Потом он замолчал, я через какое-то только время понял, что не хватает чего-то, тишина, и обернулся. Арсений лежал, уставившись в небо, и не мигал. Я начал сдирать с себя веревку, она не давалась, я рычал совсем не по-человечески и никак не мог из нее проклятой выпутаться, тогда я рванул прямо в упряжи, упал, пополз к нему. Арсений мигнул. Я силно засмеялся, как залаял. Но тут он начал мелко-мелко перебирать пальцами, словно одергивая на себе одежду. Обирается, пробило меня насквозь.

— Арсений!! — заорал я так, что осыпался с ветки снег, пытаюсь проломиться к нему туда, куда он уходил. — Стой!!! Стой!!! Так нельзя!!!

Арсений вздрогнул, пальцы его остановились, крепко уцепившись за край тулупа. Хрипло, как со сна, пробормотал он:

— Митя, все, брат, мне незачем туда. Я никому там не нужен. Прости за все.

— Чертов дурак, — заревел я белугой, не соображая, что такие слова не пришло говорить умирающему. — Ты мне нужен! Понимаешь, мне!

Я тряс его за плечи, не понимая, что делаю ему больно. — Мне срать на все твои роли! Мне на х... не нужен твой Пашка Буров! И долбаный Отелло! Мне ты нужен, Низовский, Арсений, черт бы тебя подрал!

Арсений Низовский приоткрыл глаза и сказал:

— Сколько экспрессии, какой темперамент, браво.

Прошептал:

— Верю...

Голова его откинулась, глаза закрылись.

Я тащил сани через лес и все орал через плечо:

— Слышишь, Арсений, я здесь! Ты мне нужен!

Библиография по теме «Жизнь Низовского»

Корбин Д. А. Детство и юность Сени Низовского. — Москва: Изд-во «Феникс», 1995. — 220 с.

Корбин Д. А. Как Сеня Низовский пошел в первый класс // Журнал «Семья и школа». — 1992. — № 9. — С. 21 — 34.

Корбин Д. А. Великий актер и строгая наука математика // Журнал «Семья и школа». — 1992. — № 10. — С. 12 — 28.

Корбин Д. А. Все начинается с родного дома : фотоальбом, ил. — СПб.: Изд-во «Астра», 2000. — 115 с.

Корбин Д. А. Великие роли великого актера. — Изд-во «Эксмо», 1998. — 350 с.

Корбин Д. А. Жизнь после славы. — Изд-во «Лабиринт», 2002. — 242 с.

Корбин Д. А. Секрет семейного счастья от Низовского // Журнал «Караван историй», 2006. — № 1. — С. 3 — 18

Низовский А. И. Мои дети. — Изд-во «Культура», 2014. — 400 с.

Корбин Д. А. Первая встреча с Низовским / Сборник «Встречи с великими». — Изд-во «Просвещение», 2016. — С. 3 — 38.

